

# КРАСНАЯ КОННИЦА

*Перевод с французского – Татьяна Азаркович  
по изданию: Philippe Videlier © CAVALERIE ROUGE.*

*For presentational & educational purposes only  
(серия [letterra.org](http://letterra.org): 042)*

## КРАСНАЯ КОННИЦА

Позже Казимир Малевич написал картину «Скачет красная конница» (холст, масло, 140 x 91 см), которая хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, мифическом городе на берегу Балтийского моря, долгое время называвшемся Ленинградом, в честь Ленина, большевика с лысым черепом, а до того недолгое время – Петроградом, в честь царя Петра, как и Петербург, только на русский лад, более патриотично по причине войны с немцами. Красные кавалеристы на фоне белого горизонта, под низким темно-синим небом, летели влево (естественно) под развевающимися стягами, вереницей мчались галопом поверх черной, красной, желтой, ультрамариновой, охровой, бутылочно-зеленой полос твердой, уходящей вдаль земли. Значительно позже. Конечно, уже после того, как Эль Лисицкий задумал свою внушительную (69 x 49 см) литографию «Клином красным бей белых!», хранящуюся в Государственной библиотеке в Москве, столице Союза, Родины-Матери, вечной России. И после того, как Маяковский – колоссальный, несравненный Владимир Маяковский – расписывал конфетные обертки, чтобы заворачивать в них карамельки для красноармейцев, коротенькими рассказами: «Юденич сдался Красному Петрограду, его пронзили штыками», «Если на фронте опасность, наш оплот – Красная Армия». Да, это было позже. Даже после того, как Александр Родченко выполнил для Эйзенштейна оранжевую афишу, где изображался «Броненосец Потемкин» с тяжелыми орудиями, наведенными на старый мир. Позже. И все-таки раньше, чем Лия Райцер наметила повторяющиеся узоры декоративной ткани «Механизация Красной Армии», когда Красная Армия уже станет моторизованной, оснащенной, оборудованной металлическими гремящими машинами.

Ведь раньше она рассчитывала в основном на кавалерийские силы. И именно конница составляла ее гордость в ту пору, когда Малевич написал свою знаменитую картину.

Художников охватила любовь к Красной Армии и особенно к ее коннице. Нельзя сказать, что они были хорошо с ней знакомы. По правде сказать, они не знали о ней ничего – ни о солдатах, ни о конях. Кроме, разумеется, Бабеля. Исаак Эммануилович Бабель знал всё. Но Бабель вообще стоял особняком. Он говорил короткими предложениями и писал предложениями, лишь чуть-чуть более длинными (что лишь завоевывало ему друзей). «Тухачевский, большой пьяница. Бабник. Четыре и ли пять жен в Ленинграде». – «Буденный всегда на стороне сильного. Убил свою жену и женился на буржуйке». – «Гамарник сделал хорошую карьеру. Но он очень болен. Диабет.» Бабель мог говорить подобные вещи о генералах, о маршалах, о вышестоящих и нижестоящих. Но все это он оставил при себе. «Я пишу книгу о лошадях», – утверждал он. «Да, поскольку о людях больше писать не разрешается, я пишу о лошадях». Ведь Бабель сам участвовал в конных походах и публиковал свои новеллы в «Правде» и в «Литературно-научном приложении к “Известиям” Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпросвета». Таков уж он был, Бабель: цельный. Но осмотрительный. Не такой, как Пильняк. Недальновидный Борис Пильняк задумал свою «Повесть непогашенной луны» и, как шальной, нарывался на неприятности. Потом он горько раскаялся в этом, как только возможно раскаиваться, когда тебе в затылок дышит полиция. Полиция в темных кожаных куртках – ее следует опасаться. «Вот почему, – соглашался он, по зрелом размышлении, – я присоединяюсь к мнению редакции и признаю, что допустил серьезную ошибку, написав и опубликовав “Повесть непогашенной луны”». У Пильняка же нет ни капли здравого смысла, эту историю ему кто-то подсказал, перешептывались змеиные языки, которые таились повсюду. Только дрянной политик стал бы говорить так, как он, про военных с красными ромбами на рукаве, про Красную Армию и ее командира – потому что в его повести шла речь именно о Красной Армии и его командире: «Это был человек, чье имя говорило о героизме всей гражданской войны, о тысячах, десятках тысяч, сотнях тысяч людей, которые находились позади него, – о тысячах, десятках и сотнях тысяч убитых, о страданиях, увечьях, о холоде, голоде, голоде, о знойных походах, о грохоте артиллеристских орудий,

о свисте пуль и о ночном ветре...». Ловкач Бабель воздерживался от всяких комментариев по поводу столь щекотливых дел, тряс своей маленькой, круглой облысевшей головой с прищуренными глазками за круглыми очками. У него был опыт. Буденный, усатый вояка из высших сфер, когда проявил крайнее недовольство новеллами «Конармии» Исаака Бабеля. Все было совсем не так, ворчал он, косясь на текст. «Помрем за кислый огурец и мировую революцию!»\* – кричит в «Конармии» герой-удалец, троекратный кавалер ордена Красного Знамени, размахивая в воздухе саблей. Такого быть *не могло*, размышлял Буденный, у которого была опора в кругах еще более высоких. Просто потому, что это было оскорбительно. Бабель настаивал на своем. «Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в “Правде” речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна... “Хозяйка, – сказал я, – мне жрать надо”».\*\*

Но в ту пору, когда Исаак Бабель якшался с грубыми казаками, делал разные заметки для своей газеты и заигрывал со смертью, Малевич был занят другими делами. Он по собственному почину отправился на завоевание целинных земель – территорий, не нанесенных на штабные карты. «Всё гибнет в лаке и во взрыве линий и тонкого колорита», – формулировал он, подытоживая свои мысли. Казимир Малевич размышлял о новых системах в Искусстве, дружил с Марком Шагалом, устраивал публичные лекции. «Заняв место в экономической плоскости супрематического квадрата, этой совершенной формы современной эпохи, я предоставляю ему жить и существовать в основании экономического развития своего действия». В эпоху Небывалого искусства, которое он сам воплощал, Малевич, по сути, изобрел понятие «супрематизм», которое звучало лучше всякого горна. Живописец жил вдали от сена, хрустящего по амбарам, от соленых огурцов, от гимнастерок цвета хаки в пятнах крови, хотя и ему не была безразлична социальная тематика. Он нарисовал по заказу обложку папки материалов для участников съезда деревенской бедноты, который собирался Зимнем Дворце в Петрограде. Её самая восхитительная картина, называвшаяся «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях», имела и другое название: «Красный квадрат на белом фоне». Он написал её в 1915 году. Ины-

\* В новелле «Конкин» (прим. перев.)

\*\* Из новеллы «Мой первый гусь».

ми словами, он принадлежал к авангарду. Так же писал он и свои «Живописные массы в четвертом измерении футболиста». Штрихи, линии, четырехугольники, неправильные многоугольники. Красные, синие, зеленые, желтые. Черно-белые. Вот что теперь присутствовало во всех его композициях. «Новый день творения – творения новой планеты – сделает небеса еще голубее», – вещал он в минуты восторга, потому что революция уже прошла рядом. Революция была водоворотом, вихрем, кипящим котлом. Красные и белые пытались вырвать из рук друг у друга будущее в неопикуемой схватке: Советы, офицеры с орденами Святого Георгия, рабочие из Выборгского района, женский Батальон смерти, хмурые моряки из Кронштадта, безжалостные черносотенцы, солдаты в отрепьях, набившиеся в подводы, тачанки с пулеметами, расставленные по краям мостов, паровозы, свистящие на Финляндском вокзале, и каждый день нес неизвестность, отличался от дня предыдущего. По Невскому проспекту расхаживали плотные толпы манифестантов: «Долой министров-капиталистов!» Корнилов, генерал с волчьей головой, бросил свою «Дикую дивизию» на Петроград, на Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. «Пусть те, чье сердце бьется во имя России, те, кто верует в Бога и Его Церковь, помолятся Господу Нашему о том, чтобы свершилось величайшее чудо». Но Господь подвел Корнилова. Грубияны матросы, пехотинцы в суконных шинелях, усталые железнодорожники отбили его натиск, и большевики водворились в Смольном институте, бывшем пансионе для благородных девиц.

Корнилов бежал на Кавказ, собрал на Дону казаков атамана Каледина и снова пошел в атаку. Его провозгласили командующим регулярной Добровольческой армией, воевавшей с большевиками. «За Корнилова, Отечество и Веру – грянем громкое ура!» Лавр Георгиевич Корнилов стоял за Святую Русь и охотно содрал бы шкуру со всех этих социалистов, полусоциалистов, социалистов на четверть, по большей части евреев, которые постепенно вбивали в примитивные мужичьи мозги блажные идеи о переделе собственности. Со своим всегдашним пылом он взялся за дело. Но на екатеринодарском фронте случайный снаряд вмиг переломал хребет генералу с волчьей головой. Окровавленный труп похоронили в поле, и план местности был снят в трех экземплярах. По-видимому, по указанию какого-то крестьянина, екатеринодарские боль-

шевики выкопали тело генерала из земли и повесили его на Соборной площади, как он того, по их мнению, заслуживал. Потом они сожгли останки на городской скотобойне. Однако, наряду с Корниловым, имелись и другие генералы: Алексеев, Деникин, – и один генерал замещал другого. Впрочем, оказалось, что это самая легкая замена, какую можно произвести в России. Свирепствовала война. «Социалистическое отечество в опасности!» Повсюду, отовсюду доносилось это известие, которую передавал по проводу лысый человечек из Кремля, электрическое известие от Совета Народных Комиссаров. «Все силы и ресурсы страны брошены на защиту революции... Каждую позицию нужно оборонять до последней капли крови... Да здравствует международная социалистическая Революция!» Большевики объявили, что пока все памятники царям, императорам и их прислужникам будут убраны с глаз народа в день Первомая. Вот почему Николай исчез под темно-красными занавесями. Статуя вместе с постаментом. Вместо этого огромные расписные полотнища растянулись вдоль фасадов Мариинского дворца и гостиницы «Астория». «Мне трудно было бы описать вам все это, – рассказывал французский классик, которому довелось оказаться там в это время. – Это барочное смешение ярких красок, треугольников, прямоугольников, сплавленных воедино с самой сумасшедшей фантазией. Есть там, правда, и полотна менее передовые, где еще можно различить дома, летящие кубарем, людей в разноцветных одеждах, с крошечными головами, призывающих русских вступать в Красную Армию». Петроград справлял праздник трудящихся. Флот на Неве давал холостые залпы. Алые шествия совершались под звуки «Марсельезы». «Мы, левые художники, – вещал Родченко, – мы были первыми, кто стал работать с большевиками. Мы не только примкнули к ним, мы силком потащили за собой живописцев из “Мира Искусства” и из Союза Русских художников. А чтобы об этом не забывали, мы будем вновь и вновь напоминать об этом». Александр Родченко пытался создать «Черное на черном», чтобы вступить в здоровое концептуальное соревнование с «Белым на белом» Малевича.

Белые осадили Екатеринодар в ходе одного из тех бесчисленных мелких сражений, которыми, как вехами, была отмечена гражданская война. Там-то генерал Алексеев, соперник и заместитель Корнилова, скончался одним осенним днем, оставив своему преемнику, генералу Деникину,

темно-коричневый кожаный чемодан, где хранились его сокровища. Михаила Васильевича Алексея похоронили в крипте екатеринодарского собора с почестями, попами, иконами, расшитыми знаменами и цветочными венками в лентах. Деникин, подтянутый и чопорный, держался как Наполеон, засунув руку за пазуху, когда капитан Фуке, глава французской военной миссии при Добровольческой армии, возлагал венок. Французы, в силу военной традиции, любили оказываться рядом с лучшим из противников. Россия теперь была лишь умирающей жертвой, которую вот-вот растащат на части. Немцы на востоке, французы на юге, англичане на севере, в Мурманском порту, и японцы в Восточной Сибири: каждый приготовился отрезать кусок себе по вкусу. К этим стратегическим соображениям следовало присовокупить еще чехословацкие легионы, которые растянулись в эшелонах вдоль Транссибирской железной дороги и затерялись между Уралом и озером Байкал, проделав больше четырех тысяч верст. Еще не следовало забывать об адмирале Колчаке, гладкой и холодной личности боснийского происхождения (что не было ни достоинством, ни недостатком), который выдавал себя за Верховного правителя империи. Красная территория съезживалась, как шагреньевая кожа. Никто в ту пору и гроша не дал бы за Советы и их председателя.

Большевики готовились к драке. Наиболее романтично настроенные среди них мечтали погибнуть за разгромленными баррикадами, в уличных боях, подобно коммунарам 71-го года, а самые отважные воображали героическое отступление к Нижнему Новгороду – старинному купеческому оплоту с зубчатыми кремлевскими стенами. Однажды вечером, под конец рабочего митинга в Петрограде, неизвестный убийца выпустил шесть пуль из револьвера в товарища Володарского, проезжавшего на автомобиле. Партия устроила убитому пышные похороны на Марсовом Поле, где ему по очереди пели «Вечную Память» и «Интернационал», слова которого все знали. Покойный жил когда-то в Нью-Йорке и Филадельфии. Красная Армия проводила двадцатью одним пушечным залпом останки «еврейского портного Гольдштейна по прозвищу Володарский», как с изяществом рапортовала иностранная пресса. Глава службы безопасности Петрограда Урицкий, внешне походивший на серьезного студента в пенсне, кричал о возмездии и грозил контрреволюции суровыми карами. А несколькими неделями позже

пришел и его черед. Какой-то человек спокойно прислонил свой велосипед к стене Зимнего Дворца, вошел в вестибюль № 6, удобно устроился в кресле и стал поджидать свою мишень. Когда большевик прошел мимо него, велосипедист сделал выстрел. Так погиб Моисей Соломонович Урицкий, член Центрального Комитета. «Кровь за кровь», «пулю в лоб всем врагам рабочего класса», – рычал пролетариат, взбешенный убийством Урицкого. В тот же день узнали о покушении на Ленина, вождя революции, которое произошло под конец рабочего митинга в Москве, когда вождь садился в автомобиль. Женщина (ее звали Фанни) трижды выстрелила в упор, задев шею и плечо лысого человечка. Шофер, человек опытный, понесся на полной скорости в Кремль. Когда Ленин оказался у себя в комнате, на втором этаже, его состояние ухудшилось. Губы его сделались фиолетовыми, кожа стала прозрачной. У его изголовья собралось пятеро врачей. Пронесся слух, будто пули были отравлены. Пульс слабел, дыхание делалось прерывистым и хриплым. Была задета верхняя часть легкого, и, что любопытно, сердце внезапно сместилось вправо из-за кровотечения и кровоизлияния в плевральную оболочку. Однако Ленин оказался живучим человечком. Через несколько недель его сердце вернулось влево, на прежнее место, и организм Ленина, его голова и руки понемногу снова стали функционировать.

*В этой жизни умерать не ново, –*

рыдал поэт Сергей Есенин,

*Но и жить, конечно, не новей.*

В Петрограде свирепствовала холера. На улицах профилактические кареты «Красного Креста» предлагали проходим плохой чай и кипяченую воду. Тут же гнили фрукты – опасные носители бациллы. Продавцы редиса видели, как их торговля идет на убыль из-за боязни заразы. «Люди мрут и мрут. Сегодня зарегистрировали 396 случаев смерти от холеры. Разлагающиеся трупы складывают во дворах больниц, будто кучи дров. Собаки подходят и обнюхивают их. По ночам их гложут крысы... Холера застала гробовщиков врасплох». Расценки на похороны взлетали ввысь быстрее, чем души умерших. 80 рублей за белый саван. Еда исчезала с прилавков. За килограмм ржаной муки просили

28 рублей. Серые фабрики и краснокирпичные заводы прекратили работать. Больше блестящих отливок, больше податливого сырого материала. По тротуарам шатались люди с желтыми от лишений лицами, с выступающими скулами, сверкающими глазами и умоляющим взглядом. Есть! Выжить! Голод. Война. Конец. Отдельные пузатые иностранцы с туго набитыми бумажниками еще платили по 300 рублей за ужин, заказывали бутылки вина и рюмки ликера. Но, несмотря на это, мужество уже отказывало и им. Иностранные посольства покидали город в поездах, оборудованных с полным комфортом. Они условились встретиться в Вологде – местечке, расположенном на почтительном расстоянии от фронта, от снарядов, от полной нехватки товаров. Вологда, городок с 67 церквями, уважительно приняла членов дипломатического корпуса, устроивших себе экскурсию. Они прибыли к вокзалу – красному зданию с белыми окнами, вышли из своих сине-золотых вагонов и расположились на постой. Представитель Соединенных Штатов выбрал себе дом с лимонно-желтыми колоннами, самый просторный, как и полагается по рангу этой великой стране. Французы завтракали на запасном пути, в роскошном вагоне-ресторане, еще недавно выставлявшемся в Париже. «Сегодня мы можем поздравить себя с тем, что оказались в спокойной Вологде», – вздыхали с радостным облегчением дипломаты. В пять часов, каждый день, они собирались вокруг американского посла, своего старейшины, чтобы побеседовать и определить свое положение. «Между всеми союзниками достигнуто согласие, – уверял маркиз Делла Торетта, итальянский поверенный в делах. – Мы никогда не признаем правительства большевиков». Итальянцы занимали уютную двухэтажную виллу с большим портиком.

На совещаниях или с глазу на глаз, в обычных разговорах, итальянцы, сербы, французы, американцы и японцы сетовали на недостаток сноровки у белогвардейцев, хоть те и были высокородными аристократами голубых кровей, спорщиками по унаследованным привычкам. Генералов у них хоть отбавляй, замечали иностранцы, а войск почти нет. «За три месяца Алексеев, располагая значительными средствами, едва сумел набрать меньше 5000 человек». А жаль. Ведь к белым, можно сказать, тянулись самые разные цвета. Всевозможные цвета, самые переменчивые, самые кричащие, самые разнородные: сине-желто-красный – донские казаки, сине-пунцово-зеленый – Кубань, сине-желто-

синий – крымские татары, бело-зелено-синий – горцы из Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, сине-красно-синий, по горизонтали, – Центральная диктатура на Каспийском море, бирюзовый, с вечным знаком Золотой Орды в углу, – *Идель-Урал*. Каждый нес на эфемерные поля сражений посреди лишившихся центра земель свое невероятное знамя, под которым желал победить или погибнуть, и скорее погибнуть, нежели победить, – вплоть до сине-желто-зеленого знамени Украинской Дальневосточной республики на Уссури, до навеянной японской символикой белой беседки с красным солнцем, подчеркнутым двумя полосами, Приморской Владивостокской республики. Между белыми происходили неугасимые усобицы. Князья, бароны, атаманы и ханы отрезали себе по живому куски потерянных и отвоеванных территорий, обескровленные и неподвижные феодальные владения, по принципу «всяк хозяин у себя дома»: без правил, без закона, без масштабного плана. Они походили друг на друга лишь тем, что рвались рубить в крошку большевистских комиссаров, потрошить евреев и топить в ледяной воде босяков, однако ладить между собой им не удавалось. Милосердные союзники как только могли компенсировали эту слабость. Японцы слонялись по улицам Владивостока. Британцы и американцы оккупировали Архангельск на Белом море. Французы водворились в Севастополе и Одессе на Черном море. «Франция», «Мирабо», «Жан-Бар»... Эта операция напоминала им о взятии Тонкина в добрые старые времена Жюль Ферри, о возвращении Меконга «Кометой» и «Энконстаном», и флаги полоскались на морском ветру. «Большевик храбр, но не безрассуден», – повторяли Тартарены. Тем временем, большевики завладели Казанью, и белые отступили к Симбирску. Большевики осадили Симбирск. Командующий 1-й Красной армией отправил лаконичную телеграмму: «Приказ выполнен. Симбирск взят. – Тухачевский». Волгу пересекали пролетарские миноносцы Раскольниковца, курсанта военно-морского училища. Локомотив бронепоезда народного комиссара армии, плюясь дымом, оставался под постоянным давлением на скрещении всех рельсовых путей, всех возможностей.

Пока война опустошала поля, а голод обескровливал города, искусство воспаряло к самым высоким вершинам. Малевич размышлял. «Земной шар – не что иное, как капелька мудрости, которая должна мчаться по дорогам беспредельного», – философствовал он, не надеясь на то, что

ему поверят. «В глубоких недрах сознания пространства, – думал он в полный голос, – постоянно поднимаются шквалы, которые пробивают путь новому черепу века». Не всем было дано следить за мыслью Малевича. «Мы, супрематисты, размахиваем знаменами цвета, как огнем эпохи, переходим границы новых контуров бесцветного». Супрематизм был цвета яичной скорлупы, цвета цельного молока, сливок. Супрематизм был и цвета угля, кобальта, кадмия, кармина. Супрематизм становился то красным, то черным, то кругом, квадратом и крестом. Супрематизм был гуашью, акварелью, чернилами, свинцовыми белилами. Супрематизм иногда становился хрупким фарфором. Казимир Малевич изобретал. Даже если художники ему завидовали, то подражали ему все, потому что он был самым опытным. На его счету была «Победа над Солнцем», которую играли в Луна-парке, а это уже не пустяк. «Я победил синюю подкладку неба, – распевал Малевич, – я ее вырвал, сделал из нее карман, положил в него цвет и завязал его на бантик». Супрематизм был гордецом и покорителем, полным пыла и таланта. Любовь Попова изучала для него *максимальное влияние цвета*, а Александра Экстер – *цвет в пространстве*. «Мы явились, – возвещал Малевич, – чтобы очистить личность от академической бутафории, прижечь в мозгу плесень прошлого и восстановить время, пространство, размер и ритм, движение, основы сегодняшнего дня». И все это было наглядно представлено – парило в пластической невесомости, прикреплено к фасадам зданий на Неглинке, на уникальных полотнах, размноженных афишами Окна РОСТА в виде промышленных линогравюр, намалеванных анилином. Бумага, клеевая краска: «Битва с белогвардейцами и интервентами», черный зигзаг впереди, синие облака пушек в действии, красные прямоугольники Р.С.Ф.С.Р., трехцветные флаги Белой армии, «Вот, граждане, яркий пример», бумага, гуашь и акварель, «Натюрморт с буквами – призрак бегства», холст, масло. В «Кафе поэтов» Маяковский отцепил с новогодней елки экземпляр своего «Облака в штанах» с автографом и бросил поклонникам. Растрепанные студенты пили морковный чай или каштановый кофе и скандировали «Левый марш». «Словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер!»

Говорил порох, грохотали пушки, отовсюду летели пули и раздирали в клочья человеческую плоть. Белые провозгласили в Омске диктаторское правительство Единой

и Неделимой России под надзором адмирала Колчака с щучьей головой. Белые заняли Уфу, Пермь, Белебей, Мнелезинск и Сарапул, начали продвигаться к Волге. Из своих вагонов-салонов, стоявших на вокзале, генерал Жанен из французского штаба и генерал Нокс из английского штаба с удовлетворением комментировали военные операции. Колчак им нравился. Особенно англичанам, хотя им могло показаться курьезным, нелепым и, пожалуй, неуместным то, что адмирал носится по Транссибу, за тысячу миль от всяких морских путей, по бескрайним степям, ездит по рельсам и ныряет в туннели, у восточного конца которых написано: «К Атлантическому океану», а у западного – «К Тихому океану». Но это означало, что они плохо понимают русскую душу, которая так легко склоняется к парадоксам. Когда адмирал Колчак не фотографировался в своей безупречной форме рядом с закутанным в шубу господином де Мартеlem, высшим представителем французских интересов, то проезжал на своем черном чистокровном жеребце перед строем, не расставаясь с сибирским знаменем – зелено-белым, разделенным на четыре части красным Андреевским крестом. Впереди, на ночном звездном небе, народный комиссар армии верхом на белом коне, в малиновом плаще, развевающимся от небесного дуновения, поражал, будто Святой Георгий, зелено-желтого дракона контрреволюции с цилиндром на голове. Ради пропаганды трудились теперь художники, стоя у мольбертов, и пропаганда воздействовала на умы людей, увлекала их души. «Пролетарии, по коням!» – бросал клич народный комиссар армии. Потому что красным позарез нужна была кавалерия, чтобы прорвать фронт, ударить по врагу с фланга, смять его тыл. «Пулеметчиков и артиллеристов нам хватает. Но в чем у нас огромная нужда – так это в коннице», – настаивал нарком армии, пересчитывая свои дивизии. Равнины изобиловали горячими жеребцами, которых оставалось лишь изловить, седла – ремесленники быстро сошьют их целые тысячи, а рабочие из Златоуста – города золота и железа с копящими трубами – выкуют сабли. «Пролетарии, по коням!» – твердили афиши, наклеенные на стены. Всадник в зеленом войлочном шлеме с красной звездой, нагнувшийся к шее лошади, составлял с ней одно целое. Другой, в фуражке, опершись о стремя, правой рукой размахивал саблей, а в левой сжимал киноварное знамя в тонких складках с буквами Р.С.Ф.С.Р.: «Пролетарии, по коням!», за Российскую Советскую Федеративную Республику!

И все же, это был трюк не из легких – скакать тройным галопом, вскинув в воздух обе руки, если всю молодость провел, горбатясь по десять часов в день в цеху или мастерской. Только для первоклассного рисовальщика, привычного к дерзновенным современным перспективам, эта задача была не очень сложной.

«Всякое доказательство, – повторял Малевич, – это всего лишь видимость недоказуемого». В этом вопросе, как и во многих других, он был прав. Не ошибался Малевич и тогда, когда утверждал, что, когда речь идет о портрете анархиста или императора, «отправной точкой для художника не могут служить эти различия». Однако это означало, что он ступает на скользкую территорию. Ибо и пылкие максималисты, и тусклые приспешники реакции думали не так, как он: одни видели в искусстве повитуху новой эпохи, а другие – могильщика старой. Малевич же испытывал на практике свою раздражающую теорию. Вот что он нарисовал в акварели «Трибуна ораторов»: по обеим сторонам черного квадрата, нависающего над красным треугольником, два прямоугольника, тоже красных, справа – черный тусклый круг, слева – косые черты. Рядом с наброском он приписал от руки: «Супрематистские вариации и пропорции цветных форм для росписи стен, залов политических собраний, для книг, афиш, трибун. Динамическая контрастная ячейка». Карандашом на матовой бумаге он составлял крест из черных элементов и бусин, окруженных ускользящими штрихами. «Кривые линии, – пояснял он на полях все тем же мелким почерком, – знаменуют поиски законного размещения сферы или круглого плоского пространства в положении, позволяющем избежать катастрофы продольного движения плоской черной и серой поверхности». Ленин, лысый человек из Кремля, не смыслил в этом ни аза. «Ничего не понимаю!» – восклицал он всякий раз, когда сталкивался с *футуристским пугалом*. Председатель Советов был горячим приверженцем «монументальной пропаганды», но об эстетике имел лишь самые примитивные представления. Когда известный скульптор представил ему своего «Карла Маркса на четырех слонах», тот только поморщился. Но, что ни говори, башка у него была неглупая, и свое неодобрение он иногда умел скрыть. Как-то раз он из любопытства посетил студенческую коммуны ВХУТЕМАСа. «Вы читаете Пушкина?» – спросил он молодых художников, и те выгаращили глаза: «Нет, он же был буржуем! Мы чита-

ем Маяковского». «А по-моему, Пушкин лучше», – скромно возразил Ленин. Он симпатизировал этим молодым людям и не стал говорить им, что тираж в пять тысяч экземпляров для книжки стихов Маяковского – это «глупость, чушь, сумасбродство и нелепость», потому что, по его мнению, «для библиотек и для чудаков» сполна хватило бы и полутора тысяч.

*Кто спросит с Луны?*

*Кто предъявит счет Солнцу?*

Крошеным стихам Маяковского председатель Советов предпочитал «Наказание» Виктора Гюго и «Живой труп» старика Льва Толстого. По его мнению, Толстой был первым в ряду великих людей, которым революция должна была воздвигнуть памятники. Первым в категории писателей, разумеется. А значит, несколькими ступеньками ниже, чем Спартак, Брут, Гракх, Бабеф и Бакунин в своем саду, чем Маркс и Энгельс – тощие, сухопарые на их новом постаменте на площади Революции, ниже, чем Фурье, Сен-Симон, Оуэн и товарищ Володарский, вырванный врагом-убийцей из рядов соратников. Из живописцев, которые следовали за писателями, Ленин думал о Рублеве. Не о *Георгии* Рублеве, еще молодом богомном художнике, работавшем в Москве на Агитпроп, а об *Андрее* Рублеве, который жил в XIV веке и писал иконы миндальными, лазурными и кумачовыми красками. Еще он хранил в уголке своей зрительной памяти вельможного портретиста Ореста Кипренского, Александра Андреевича Иванова, создателя «Явления Христа народу», и Врубеля – живописца, склонного к депрессиям и натюрмортам. Малевич в этот список не входил. Впрочем, его характер был не по душе и некоторым собратьям-художникам. Они видели в нем человека с «неприятными бегающими глазами», считали его неискренним, самодовольным и даже несколько ограниченным. Но – вы же знаете этих художников! Казимир Малевич шел своим путем, находил свои резоны и сравнения. «Движение поезда или пушечного ядра, разрушающее стену и убивающее людей, – рассуждал он, – еще не доказательство, сколь бы убедительным оно ни представлялось, что это последнее существует». Такое утверждение оставалось открытым для обсуждения.

Поезд Военного Народного Комиссара выбрасывал свою механическую мощь на всех фронтах, в такт скачкообразному ритму своих стальных осей. Вагон-кабинет, вагон-

спальня, вагон-гараж, провизия, библиотека, типография: поезд вез все, что было необходимо для его миссии, – сливочное масло, сапоги, сигары и ордена Красного Знамени, чтобы награждать отличившихся бойцов, а также отряды передовых коммунистов в кожаных куртках, чтобы было кому выполнять приказы. Скрежетали тормоза, поезд останавливался на вокзале или в чистом поле, неподалеку от места сражения. Автомобиль, который вел шофер-эстонец с характерным акцентом, вез военного комиссара к линии огня, поближе к бою, в самую гущу войск. Комиссар в форме говорил, разглагольствовал, сопровождал свои слова размашистыми жестами: почему нужно двигаться вперед, почему ренегаты будут наказаны, и т.д. «Позор коварным предателям трудового народа!» «Труссы, которые боятся за свою шкуру, изменники не уйдут от пуль, я отвечаю за это перед всей Красной Армией», «Выполняйте свой долг, красноармейцы!», «Южный фронт, воспрянь!», «Мы сражаемся, чтобы узнать, кому достанутся дома, дворцы, города, солнце, небо!» Комиссар передавал солдатам свою энергию, энергию поезда, и снова отправлялся в путь. Он пожирал километры, версты. Девяносто семь тысяч шестьсот двадцать девять верст. По прямой, по кривой, по спирали. Двигаясь от эпицентра, нарком армии расширял круг, разбивал толстые линии, бил красным клином белое пространство. Он играл свою партию, переставлял свои фигуры мудро, повинаясь чутью, будто играя в те хрупкие шахматы, которые выпускали сестры Данько на Государственном Фарфоровом заводе. У себя в вагоне, между двумя пунктами повестками дня, комиссар читал «Очерки материалистической концепции истории» Антонио Лабриолы, изданные в 1897 году в Париже, и стихи Малларме в синей обложке издания «Академической библиотеки Перрена». Малларме! – не удивительно ли это для наркома армии и флота, председателя Реввоенсовета? Однако наркому не был чужд космополитический дух. Он знал Париж, Лондон и Сибирь, где побывал в ссылке. Он знал Женеву, кафе «Ландольт», Вену, кафе «Централь». Он знал Берлин и Балканы, Испанию, Мадрид, музей Прадо, где некогда рассматривал полотна Веласкеса, Риберы, Иеронима Босха, знал и Нью-Йорк – «баснословно прозаический город капиталистического автоматизма, где, – отмечал он, – на улицах царит эстетика кубизма, а в душах людей – нравственная философия доллара». Комиссар армии свысока глядел на Вильсона, Черчилля

и Клемансо. «Этот болтун и хвостун, лорд Черчилль, насчитал четырнадцать противников, которые объединились против советской революции», – замечал он. И это было так.

На юге Всероссийских земель генерал с кошачьей головой, Деникин, готовился к великому наступлению. Он обедал с иностранными военными миссиями – отменные супы, крем из цветной капусты и пирожки, серебристая черноморская рыба, жареная индейка со смесью овощей, да здравствуют отважные союзники, спасение и братство. У Деникина имелся свой план. «На Москву! На Москву!» – повторял он своему окружению. Его войска, его конница стекались со всех сторон, занимали территорию – одну квадратную версту за другой. Мамонтов и Шкуро – в Тамбове и Воронеже, Кутепов – в Курске и Орле, Юзефович – в Новгороде-Северском. Все белые генералы внедрены в красные города. Все наступают под началом Деникина, вождя с кошачьей головой. «Я уже слышу звон колоколов в Кремле», – улыбался Деникин, наделенный тонким слухом. Он без труда представлял себе, как пройдет триумфатором через Троицкие ворота под глухой звук наполеоновских пушек, награбленных в 1812 году, и «Единорога», отлитого в 1670-ом, как с колокольни Ивана Великого с золоченым куполом будет доноситься веселый перезвон. Но на борьбу с белыми генералами революционный штаб бросил красных казаков, литовских пехотинцев и латышских кавалеристов Примакова и Буденного. «Бить по врагу с фланга» – вот какое им было дано указание, приказ и совет. В деревнях и селах, в Мелехове, в Покровске, в Понырах, вдоль железной дороги между Курском и Орлом, в Комаричах между Льговом и Брянском, они били со всей мочи. «Для войск Деникина, которые продвигались с оркестром впереди, появление нашей конницы стало сногшибательным сюрпризом», – отдувались большевики, которые дешево отделались и теперь старались укрепить свои преимущества, как только можно. Красные сражались на снегу с ручными гранатами. 250 патронов на одного бойца – ни патроном больше. Лошади теряли подковы, лошади прихрамывали. Орудия, поворачиваемые замерзшими руками, стреляли бесперебойно. Красные брали пленных, переманивали на свою сторону солдат, расстреливали офицеров. Таков был приказ, таковы были указания и советы. Под Курском они захватили белый поезд «Генерал Дроздов» и сразу же переименовали его в «Красного казака». Но на северо-западе, со стороны Эстонии, опираясь на силы англичан, шел

на Петроград Юденич, генерал с головой моржа. Был ли он умен, неясно, но денег у него было предостаточно – векселя на его имя на сумму пятьсот миллионов, рубли-юденки, напечатанные в Эстонии, и снаряжение по последней моде, изготовленное в Манчестере, отгруженное в Лондоне. У него были танки. Юденич занял Красное Село и Гатчину вблизи Петрограда, он удерживал Пулковские высоты. Юденич стоял уже в пятнадцати верстах от Петрограда. В оглушительно грохотающих трамваях люди, оглядываясь по сторонам, обсуждали эту новость. Театры и кинотеатры опускали занавесы. Петроград трепетал. Комендантский час после 8 часов вечера. Улицы вымерли. Газеты сообщали о скором прибытии народного комиссара армии и его поезда. Поезд наркома армии мчался на подмогу. «Готовься, Петроград!» Петроград ошетикивался колючей проволокой, очеркивался окопами, прикрывался артиллерийскими орудиями. Народный комиссар в сером плаще обращался к Совету под стеклянной кровлей Таврического дворца, украшенного желтыми дорическими колоннами, он обращался к делегатам, изнуренным от работы на заводах или службы в полках, вооруженным револьверами-наганами. Он долго говорил о восточном фронте, о западном фронте, о южном фронте, об Украине, Кавказе, Дагестане, где тоже велись бои, о Финляндии, этой трусливой опоре Юденича, которой он угрожал вторжением башкирской кавалерии, ибо бледные голубоглазые северяне больше всего боялись инородцев с медной кожей с азиатских рубежей. «Я уже писал об этом, и сейчас повторю: я глубоко убежден, что даже в ослабленном Петрограде мы достаточно сильны, чтобы уничтожить, стереть в порошок белогвардейских бандитов». Подкрепляя свои слова жестами, народный комиссар армии сел верхом, чтобы повести в бой, на линию огня, выморочных красных солдат. «Красноармеец, помни о том, что нас больше, мы сильнее, что наше дело – правое. Помни, что в рядах Юденича бьются люди, у которых тело не сильнее, чем у тебя, а дух – слабее». Подбодренные красноармейцы отняли у белых Пулково, Гатчину и Красное Село. Спустя несколько дней, войска генерала с головой моржа уже бежали в сторону Балтики, а спустя еще несколько недель юденки уже продавали в Эстонии на вес бумаги.

Казимир Малевич отправился в Витебск, где уже находился Шагал, обосновавшийся в брошенном банкирском особняке и превративший его в школу живописи по своему вкусу. На верху развевался его флаг – всадник верхом

на зеленой лошади: «Витебску – от Шагала». «В этой дыре сейчас расцветает колоссальное революционное искусство», – восторгался художник (потому что Витебск был маленьким провинциальным городком, затерявшимся между Смоленском и Минском). Художники разукрашивали Витебск, и Витебск притягивал художников. «Общественные площади – вот наши палитры», – любили они говорить в минуты веселья. Жители городка были рады, что о них пекутся такие знаменитости, что в их жизни появились такие светила. Вскоре они увидели себя изображенными в виде свинок со скрипками, симпатичных козочек, машущих копытами, алых коров или петухов и кур, растворяющихся в синей глубине, а спустя еще немного времени – в виде свободных геометрических фигур – оранжевых, изумрудных, индиговых, блестящих и изломанных. Художники приезжали издалека, чтобы поглядеть, что здесь творится. «Город еще был украшен полыхающими красками Малевича – кругами, квадратами, точками, линиями всевозможных цветов, – и летающими существами Шагала, – замирая от восторга, рассказывала одна поклонница. – У меня было ощущение, будто я очутилась в заколдованном городе, но в то же время все это было настоящим и удивительным, а витебчане вдруг все сделались супрематистами». Однако уже вскоре между двумя вождями от Искусства – творцом зачарованных животных и архитектором углов и кругов – пробежала черная кошка. «Правда состоит в том, что после двух лет правления Шагала его сверг супрематист Малевич, отобравший у него учеников», – рассказывал один из участников тех событий, охваченный стремлением к беспристрастности. Словом, эти двое никак не могли ужиться друг с другом. «Шагал пытался произносить речи, но они выходили путаными и почти невнятными. Малевич отвечал короткими, вескими, метко бившими словами. Супрематист был провозглашен художественной ипостасью революции. Шагала пришлось уйти». Малевич организовал свою фракцию – крепкую, прямую, квадратную, сработанную из цельного куска, – УНОВИС, «Утвердители Нового в Искусстве», – и примкнувшие к ней художники выражали свое творческое кредо, обращаясь *urbi et orbi*: «Мы молоды, мы хотим, чтобы лицо нашей эпохи стало нашим лицом». Для ошеломленного народа, для невежественных критиков, для галерейщиков, которые озадаченно их изучали, такая формула не была глупой очевидностью. Во времена «Бубнового валета»

или «Ослиного хвоста», эти поводы, эти группы, эти доверенные школы – все казалось ясным: сезаннисты, примитивисты, лучисты, даже кубофутуристы, – каждый знал, куда и как поместить свою живопись. Но с Малевичем все было по-другому, так как он ускользал от общих законов притяжения. Он оставался неуловим и свысока бросал: «Всякое раскрашивание, имеющее утилитарные цели, ничтожно и недостаточно пространственно». Казимир Малевич стал главной знаменитостью 16-й Государственной выставки, но в тот же самый миг его звезда начала тускнеть: комиссары хмурили брови при виде его картин. Эти беспредметные полотна с повторяющимися названиями висели безо всякого порядка, обычно приличествующего стенам галерей: «Супрематизм (Супремус № 50)», 97 x 66 см – красные поперечины, треугольники и сиреневый квадрат (справа), желтый квадрат (слева) и косая линия; «Супрематизм», 101,5 x 62 см – желтый четырехугольник в черном четырехугольнике, красный квадрат и композиция из голубых, зеленых, желтых прямоугольников, каштановых и черных линий; «Супрематизм (с синим треугольником и черным прямоугольником)», подвешенный изнанкой к зрителю; «Автопортрет в двух измерениях», подвешенный вверх тормашками, upside-down. То, что его картины оказались предметом такой путаницы среди всеобщего равнодушия, казалось неприличным и, более того, тревожным. Значит, для большинства людей картины Малевича оставались попросту бессмыслицей. Он умудрялся все усложнить, работая с простейшими формами. «Цветное и черно-белое, – брюзжал он, – дадут повод для целого сонма толкований, которые увенчает красный путь в белом совершенстве». Однако лукавое сомнение, зароненное в глубины его «я» злободневными реалиями, заставило его в этом месте внести уточнение, существенное в глазах современников: «Когда я говорю «белый», я не держу в уме никаких политических значений, которые приобрело в наши дни это слово».

Красные, между тем, переходили в наступление. Они продвигались на Восток – к Сибири, к Омску, столице адмирала Колчака. Белые – и солдаты, и упряжки – отступали, растянувшись длинными муравьиными колоннами по бескрайним равнинам. Пехотинцы в лохмотьях, с ружьями больше, чем они сами, плелись скорбным шагом, на них болтались изношенные штаны с дырами на коленках или бедрах. Колчак читал донесения и подсказывал, как пружина.

Он рвал и метал, бесновался и зеленел от ярости. У него на шее вздувались вены. Его голос гремел. Некоторые злонамеренные чиновники распускали о нем досадные слухи, будто он «охоч до наркотиков и до женского пола». Его министры мухлевали напрапую, перепродавая по непомерным ценам товары, полученные даром от американцев. Его одержимые гвардейцы-сербы занимались вымогательством, рубили головы удачливым торговцам, набивали себе карманы, что казалось им вполне законным в таком шатком положении. Графини в драгоценностях устраивали благотворительные балы, вальсировали, кружились и вертелись, а потом удирали по-английски вместе с кассой. Это было нелегко – вырасти в дворцовой роскоши и блеске, а потом вдруг оказаться без гроша. Всё обменивалось по лучшему курсу у спекулянтов – романовские рубли, сибирские рубли, японские иены. А по ночам бесцветные люди пропадали: их наскоро расстреливали – *«пускали в расход»*, по принятому тогда выражению. Красные продолжали наступать. Омск охватила паника. Чувствуя близкий конец, Александр Васильевич Колчак, адмирал с щучьей головой, сложил с себя полномочия, передав командование Белой гвардией в руки Антона Деникина, генерала с кошачьей головой. «Обстоятельства требуют передачи генералу Деникину всей верховной власти над занимаемыми им территориями». Колчаку хватило времени лишь на то, чтобы погрузить свою молодую любовницу и все золото России в семь эшелонов, изрыгающих пар и готовых к отправке на Восток. Чехи, раскиданные вдоль Транссибирской магистрали без какой-либо точной цели, поймали его по пути в гараж, нацелили на него угрожающие оружия бронепоезда и выдали его красным, которые не стали с ним долго возиться. В феврале адмирал с щучьей головой умер в обледенелом Иркутске. Его безжизненное тело скользнуло в реку через прорубь. Но Деникин оказался не в лучшей форме, когда принимал командование. Он потерял руку, и его тонкий слух больше не улавливал звона кремлевских колоколов. Конница Буденного начала доставлять ему неприятности. «Враг тоже устал, – утешал он самого себя и своих офицеров. – Тыл у него ненадежный». По правде говоря, генерал с кошачьей головой мечтал поскорее выпутаться из этой истории. «Я низко кланяясь всем тем, кто доблестно следовал за мной в нашей чудовищной борьбе». На свое место он назначил генерала-барона с жирафьей шеей, после чего взошел в черноморском порту на борт британско-

го судна, чтобы уплыть к более спокойным берегам. Красным пришлось еще изрядно повозиться с остатками его армии.

Тогда воспользовались случаем поляки. Царская Россия с ними, можно сказать, не церемонилась, и теперь они, в свой черед, решили ударить, насколько это было им под силу, по России советской. Маршал Пилсудский не походил на демократа. Вид у него был суровый – усы, огромная сабля. Он пошел в наступление у Березины (дурное предзнаменование). Его войска перешли границу Украины и дошли до Киева в первые погожие дни мая. Но Киеву не суждено было достаться полякам. Уже в июне большевики отвоевали эти земли благодаря коннице Буденного, которая, как некоторые пристрастные наблюдатели любили отмечать, «состояла из казаков и прочих элементов, набранных в азиатских степях». Итак, большевики, казаки и азиаты, перешли, в свой черед, Березину (дурное предзнаменование) и двинулись на Варшаву, везя в своих фургонах коммунистическое правительство в полном составе, возглавляемое Феликсом Дзержинским, главой советских органов безопасности, грозного ЧК, и, кстати сказать, поляком по происхождению. Красная кавалерия проходила через города и деревни, двигаясь все дальше на Запад – до Данцигского коридора, до Восточной Пруссии. Она преспокойно вошла в Зольтау – через широкие ворота, колонной по трое: солдаты шагали в разрозненной форме, в фуражках, заломленных назад или набекрень, положив руку на бедро, будто отдыхая, с улыбкой на губах. Пристрастные наблюдатели утверждали, что евреи (в ту пору их было в Польше немало) встречали красных с ликованием, тогда как «настоящие поляки» испытывали к ним отвращение. Разумеется, все это были басни. И те, и другие ненавидели друг друга просто так, без всякой видимой логики. Встречались и «настоящие поляки», затесавшиеся в ряды красных, и евреи, которые не любили коммунистов. Но Варшаве не суждено было достаться красным. По крайней мере, сейчас. Серая польская армия, экипированная по немецкому образцу, выстраивалась на улицах в каре. А рядом с поляками вставали в шеренгу синие войска, явившиеся на подмогу из Франции. Пилсудский принимал полезные советы генерала Вейганда и генерала Радклиффа, а также оружие, пулеметы, пушки, полевую артиллерию. Сухарь Вейганд постукивал тросточкой по своим начищенным сапогам, стоя перед польскими офицерами в киверах. Варшавяне бурно приветствовали бескорыстную помощь

французов и британцев. Гвардейцы в котелках, в нарукавниках цветов национального флага, шествовали в ряд и твердили молитвы одну за другой (поляки всегда питали склонность к религии). На главной площади кардинал Каковский благословил верующих. Настал суровый час, нельзя было выказывать слабость. «Разрешается работать по воскресеньям и праздничным дням, – гнусавил прелат. – Вперед, все по постам, во имя Господа и Отечества». Ему повиновались. «Косари Смерти» Костюшко, вооруженные косами, верхом на норовистых лошаденках, выжидали красных кавалеристов, чтобы выпустить из них кишки. Друг напротив друга оказались двадцать тысяч ружей и двенадцать тысяч сабель. В августе произошла битва на Висле. 3-й корпус Красной кавалерии и четырнадцать пехотных дивизий ударили по правому флангу поляков. Но против правого фланга большевиков поляки выставили в боевом порядке двадцать девять тысяч сабель и ружей. 3-я и 15-я Красные армии, 1-я и 5-я Польские армии, и 12-я, и 4-я, уланы и полки, чьи номера начинались со 100, чтобы производить впечатление, и все это смешалось в яростной рукопашной, а генералам оставалось лишь снимать сливки. Но в решительный миг красных подвела конница. Буденный не явился на свидание. Чтобы привлечь к себе внимание, он не гнушался никакими средствами. Советы – вчерашние победители – оказались в шекотливом положении. Им пришлось вступать в переговоры. В большом зале Дворца Черных Голов в Риге, латышской столице, унаследованной от тевтонских рыцарей, под сверкающими люстрами и плафонами, украшенными росписью под старину, белые поляки – справа, крепкие, в два ряда, с саблями на боку, и красные русские – слева, в антрацитовых костюмах, сидели друг напротив друга по обе стороны большого стола, покрытого зеленым сукном.

Под лазурным небом полуострова Крым генерал-барон с жирафьей шеей рассчитывал извлечь выгоду из этих событий. Врангель был возведен в ранг главнокомандующего всеми Белыми армиями – с благодарственными молитвами, в клубах фимиама. Генерал-барон был высоким и худым. Он возвышался на целую голову над всеми солдатами, так что видно его было издалека. Солдаты кричали «Ура!», а духовенство выносило святыне образа и кропило присутствующих святой водой. Степенным голосом епископ Севастопольский призывал верующих сплотиться вокруг нового Спасителя, призывал сражаться с безбожниками-коммунистами, кото-

рые разграбляют имущество Церкви – золото и пурпур, составляющие ее блеск и благосостояние. Генерал с жирафьей шеей сотворил крестное знамение, приложился к распятью. «Он вправду внушает доверие», – отметил французский журналист, присутствовавший на месте событий. У барона Врангеля имелось поручительство французов, чей язык он знал, и он пылко защищал займы у мелких держателей акций. Врангель появлялся в казачьей форме – в *черкеске* с патронташем на груди, придававшей ему отчаянный и живописный вид, и *панахе* – меховой шапке, которая еле держалась на нем. На перевязи у него красовался пистолет с золотыми насечками, на боку висел длинный острый кинжал. Генерал-барон имел обыкновение приветствовать своих солдат звучным кличем: «Здравствуйте, мои храбрые казаки!», и белые казаки, всей душой преданные генералам и баронам, дважды становились по стойке «мирно». Статная фигура Врангеля ясно говорила о том, что ему на роду написано стать государственным деятелем. «Армия и общественное мнение увидели во мне человека, способного дать им то, к чему они стремятся», – самодовольно хвастал он. Окопавшись в своей крымской крепости, генерал-барон приглашал к обеду важных шишек из иностранных миссий, адмирала МакКалли, посланца Соединенных Штатов, майора Такахаша, сына страны Восходящего Солнца, и графа де Мартеля, представителя Французской республики. Врангель щедро раздавал бумажные деньги и всюду разбрасывал прокламации:

*«Слушай, русский народ, за что мы боремся:  
За попорченную веру, за поруганные святыни;  
За освобождение народа от ига большевиков,  
Бродяг и каторжан, до основания разоривших нашу  
Святую Русь».*

Но русский народ его не слушал. Народ оставался глух к его призывам. Лишь европейские кабинеты министров и столицы ставили на Врангеля. В его распоряжении имелись танки, артиллерия, боеприпасы. Этого было недостаточно. «Все против Врангеля!» – раздавались чеканные слова из Москвы, Петрограда, с Кавказа. Бронепоезд народного комиссара армии вновь помчался по направлению к Югу.

Решающий бой состоялся у Перекопского перешейка, отделявшего Крымский полуостров от севера Таврической губернии. На заиндевелых соляных разработках Сиваша

Красная Армия Буденного, на сей раз дисциплинированно прибывшая, опрокинула белых казаков. Началось беспорядочное бегство. Генерал-барон и его войска в спешке взбирались на корабли, стоявшие на рейде в Севастопольской бухте. В порту американский адмирал МакКалли долго жал руку Врангелю: «Я всегда был вашим горячим поклонником. И сегодня остаюсь им больше, чем когда-либо». Американцы – взрослые дети. Генерал-барон с жирафьей шеей поднялся по забортному трапу крейсера «Генерал Корнилов» с тремя дымящими трубами. Не осталось больше генералов, которые последовали бы его примеру, не из кого было больше набирать войска: могучие державы разыграли все свои карты, одну за другой. Разрозненный флот, перегруженный будущими таксистами, направился к Турции в сопровождении французских судов. Адмирал Дюмениль, умевший пользоваться согласованием времен, как это принято среди благовоспитанных офицеров военно-морского флота Франции, обратился с приветствием к побежденному при помощи современного средства связи – радио: «Вы были вынуждены покинуть Отечество, я понимаю, со сколь великой скорбью». Французам свойственно обостренное чувство вежливости. Выйдя из российских территориальных вод, «Вальдек-Руссо», названный так по имени президента Совета Республики, дал залп в честь «Генерала Корнилова», носившего имя апостола монархистской контрреволюции. «Генерал Корнилов» ответил бортовым залпом. Это последние оружейные выстрелы ознаменовали конец Гражданской войны в России.

Художники располагали достаточным досугом, чтобы отпраздновать победу. Впрочем, больше ничем они не располагали. Художники всячески ставили себя на службу победившей революции. Они создавали всевозможные ценные и менее ценные произведения – картины, афиши, поэмы и фильмы, прозу, рекламные формулы – *Я ем бисквиты фабрики «Красный Октябрь»* – и фарфоровые тарелки, на которых красовалась надпись: «Кто не работает, тот не ест». Малевич ел мало. Зато он углублялся в космическое пространство, открывал случайные спутники, движимые ненадежными магнетическими связями по неопределенным орбитам, «формы, не имеющие никакого отношения к земной поверхности». Люди поднимали глаза и переходили на другую сторону улицы. *Сигареты “Ира” – все, что осталось от старого мира* – читали они на красно-зелено-черных

пштах Моссельпрома. Они не нуждались в афишах, чтобы убедиться в этом, но не роптали: каждый желал прежде всего заниматься своим делом. *Кулинарный жир: внимание, трудящиеся! Второе дешевле сливочного масла.* Казимир Малевич не предавался излишнему оптимизму. Он вел категоричные рассуждения. «Бытие не существует ни во мне, ни вне меня, – объяснял он каждому, кто желал его слушать, – ничто не может изменить чего бы то ни было, ибо не существует ничего такого, что могло бы измениться само или подвергнуться изменению». К сожалению, а может быть, и к счастью, для него и для остальных, желавших все это слушать было совсем мало. Малевича куда-то заносило. Иногда, совершенно внезапно, хотя никто и не домогался его мнения, он намекал на то, что тысячи прозорливых инженеров, опирающиеся на миллионы рабочих и крестьян, никогда не достигнут того же уровня совершенства, какое доступно художнику, вооруженному одной лишь слабой кистью. Чересчур пылкий дух возносил его к тем опасным тропам, которых большинство людей избегало. Он и сам не заметил, как его отклонения приняли мятежный оборот. Он говорил в пустоту. Это было слишком. «Стремление к совершенной цивилизации, – разглагольствовал он, – напоминает маленького мальчика, который надувает мыльный пузырь: он уже поймал туда отражения всех цветов, и хочет надуть пузырь еще больше; но тот, сделавшись совсем большим, лопається, а мальчишка-то и не знал, что пузырь может разорваться». Итак, для Казимира Малевича наступила эпоха Большого Разрыва. Лысый человек из Кремля умер, его взгляд остекленел. Поэт Сергей Есенин вскрыл себе вены в гостиничном номере, чтобы своей кровью написать несколько сильных строк, а потом повесился на водопроводной трубе с помощью ремня от чемодана. *La voilà, l'implacable rigueur qui résume la souffrance des hommes* («Вот она, беспощадная строгость, итог страданий людских»). Народный комиссар армии и флота, попавший в опалу, удалился в изгнание и временно жил на одном из Принцевых островов, неподалеку от Стамбула. Никто больше не отваживался даже произносить его имя. Малевич написал *«Введение в теорию дополнительного элемента в живописи»*, намереваясь опубликовать этот трактат, но не вышло. Он менялся. Прощайте, квадраты, трапеции и круги. Всё, конец. Он стал изображать плотников, жниц, крестьян в полях, наконец, даже писать картины с почти человеческими лицами. По-прежнему

– синим, зеленым, красным. Владимир Маяковский, многословный поэт, всадил себе пулю в сердце. Его кровь пробежала ручейком по обществу, растекаясь по земле. *«Всем: В смерти моей никого не винить. И не надо канканов, пожалуйста, покойный терпеть их не мог»*. Малевича охватил страх. Малевич перестал быть на хорошем счету. Его душили ужасные предчувствия, превращая в сплошную пытку его дни и ночи. Он отпустил себе длинные волосы и бороду «под Распутина».

И только тогда Казимир Малевич взялся за свою «Красную кавалерию». Никто и не догадывался, что он там стряпает, в тайнике своей мастерской. Никто не видел его эскизов. Никто ничего не знал о его чувствах. Когда картина была закончена, он надписал на обороте холста точное название: «Красная конница скачет галопом из столицы Октябрьской революции на защиту советских границ». А несказанное он оставил при себе. На самом же деле, создавая эту картину, он вдохновлялся одной красивой и сдержанной фотографией, опубликованной в давней прессе. Это была историческая фотография, относившаяся еще к эпохе гражданской войны и супрематизма. Отряд всадников, резко выделяющийся на фоне неба, скакал галопом по равнине и с развевающимися знаменами устремлялся в атаку. Под клише «Кистоун» стояла подпись: «Конница Корнилова идет штурмом на революционный Петроград». Хитрец Малевич выбрал образцом для своей «Красной кавалерии» отряд Белой кавалерии. В его стране и в ту пору это было самое незаметное из переодетых.